

УДК 141.12

СИМВОЛ И ЯЗЫК КАК СТРУКТУРА И ГРАНИЦА ПОЛЯ ПСИХОАНАЛИЗА

Худояерко В.А.

Рассмотрены проблемы неиспользованных возможностей психоаналитической теории Фрейда, его непосредственной связи с архетипическими символами и бессознательными языковыми знаковыми системами.

Путем редукции истории отдельного субъекта нащупывает анализ те гештальты отношений, которые и экстраполируют затем в регулярную схему. Если психоанализ способен стать наукой (ибо он ею еще не стал), и если ему не суждено выродиться в чистую технику (похоже, это уже и произошло), мы обязаны его опыт заново осмыслить. И самое лучшее, что мы можем для этого сделать, это вернуться к учению Фрейда. Если вы считаете себя практиком, то это не значит, что вы можете позволить себе, не понимая Фрейда III, отвергать его во имя Фрейда II, которого вы якобы понимаете; а полное игнорирование Фрейда I вовсе не дает вам повода считать пять его великих психоанализов серией неудачно выбранных и дурно изложенных случаев, в которых разве что чудом каким-то избежало гибели скрытое в них зерно истины. Раскройте одно из первых произведений Фрейда (Traumdeutung), и эта книга напомнит вам, что сон имеет структуру фразы или, буквально, ребуса, т.е. письма, первоначальная идеография которого представлена сном ребенка, и которое воспроизводит у взрослого то одновременно фонетическое и символическое употребление означающих элементов, что мы находим и в иероглифах Древнего Египта и в знаках, которые по сей день используются в Китае. Споры нет, Фрейд положил за правило всегда искать в сновидении проявление какого-то желания. Но поймем его правильно. Если мотивом сна, идущего, казалось бы, вразрез с его теорией, он признает желание противоречия со стороны субъекта, которого он попытался в ней убедить, то почему бы ему не признать, что, если ему это удалось, собственный закон возвратился бы к нему уже от другого, и тот же самый

мотив он мог бы по праву приписать и себе. Словом, здесь-то и проявляется как нельзя отчетливо тот факт, что желание человека получает свой смысл в желании другого – не столько потому, что другой владеет ключом к желаемому объекту, сколько потому, что главный его объект – это признание со стороны другого. Кто из нас не знает по опыту, что как только анализ вступает на путь переноса – и это как раз лучший признак, что он на этот путь действительно вступил – каждый сон пациента интерпретируется как провокация, скрытое признание или отвлекающий маневр во взаимоотношениях с аналитическим дискурсом, и что в ходе анализа сны все больше и больше сводятся в своих функциях к элементам реализующегося в нем диалога?

Что касается психопатологии обыденной жизни, – области, открытой для нас другой работой Фрейда, – то ясно, что всякое несостоявшееся действие представляет собой здесь успешный дискурс, порой даже очень ловко построенный, и что при оговорке кляп в устах говорящего ослабевает ровно настолько, чтобы имеющий уши услышал. Но обратимся непосредственно к тому месту этой работы, где говорится о случае и порождаемых им поверьях, и, в частности, к фактам, на которых Фрейд подробно показывает субъективную эффективность ассоциаций, связанных с числами, заданными путем немотивированного выбора, или называния наугад. В этой-то эффективности как раз и раскрываются наилучшим образом доминирующие структуры психоаналитического поля. И сделанная мимоходом ссылка на неизвестные нам интеллектуальные механизмы – не более чем смущенное извинение в полном доверии к символам, которое поколебалось разве лишь оттого, что оказалось оправданным сверх всякой меры. Ибо, если для того, чтобы допустить симптом – неважно, невротический или нет, – в сферу психоаналитической психопатологии, Фрейд требует наличия того минимума сверхдетерминации, который конституируется двойным смыслом, символом угасшего конфликта, функционирующим одновременно в конфликте настоящем, не менее символическом; если он научил нас проследивать в тексте свободных ассоциаций восходящие разветвления этого символического древа, нащупывая в нем узлы структуры этого текста в тех точках, где вербальные формы пересекаются, – то совершенно ясно, что симптом целиком разрешается в анализе языка, потому что и сам он структурирован как язык; что он, другими словами, и есть язык, речь которого должна быть освобождена.

Для того, кто не вдумывался в природу языка, именно опыт числовых ассоциаций может сразу указать на то главное, что здесь нужно понять: на комбинаторную силу, организующую в нем (языке) двусмысленности. В этом и следует признать истинную пружину бессознательного. Ведь если при разбиении на несколько групп последовательности цифр, образующих некоторое выбранное число, и последующем соединении образовавшихся чисел действиями арифметики, или при неоднократном делении первоначального числа на одно из полученных при разбиении новых чисел, полу-

чаются числа, которые в истории субъекта играют наиболее ярко выраженную символическую роль, не значит ли это, что в скрытом виде они уже были заложены в том выборе, которым они были заданы, так что если отбросить суеверную мысль, что перед нами цифры, предопределяющие судьбу субъекта, остается предположить, что именно в порядке существования их комбинаций, т.е. в том конкретном языке, который они собой представляют, и пребывает то, что анализ открывает субъекту как его бессознательное. Мы увидим, что филологи и этнографы знают достаточно примеров комбинаторной безошибочности, обнаруживающейся в полностью бессознательных системах, с которыми они имеют дело, чтобы не удивляться высказанному нами здесь положению.

Если кто-то сомневается, мы вновь обратимся к свидетельству того, кто, открыв бессознательное, вправе рассчитывать на наше доверие и в поиске его местоположения – уж он-то не подведет нас.

Остроумие и его отношение к бессознательному остается работой самой бесспорной, ибо самой прозрачной, – работой, в которой действие бессознательного демонстрируется нам до последних тонкостей; черты бессознательного, которые нам здесь открываются – это и есть черты самого ума, запечатленные той двусмысленностью, что сообщает ему язык, оборотной стороной царских привилегий которого является “острота”, способная в мгновение ока упразднить весь его строй – острота, в которой его творческая активность обнаруживает свою абсолютную произвольность; в которой его господство над реальным принимает облик вызывающей бессмыслицы; в которой юмор, отмеченный коварством свободного духа, символизирует некую истину, не произносящую своего последнего слова.

Отправимся же вслед за Фрейдом в увлекательную прогулку по восхитительно заманчивым тропам этой книги – излюбленного сада горчайшей его любви. Здесь все существенно, все жемчужная россыпь. Ум, живущий в изгнании среди творения, которому он служит незримой опорой, знает, что волен в каждое мгновение уничтожить его. И нет таких форм этой скрытой царственности – высокомерных или коварных, щегольских или снисходительных, вплоть до самых презренных, – которые не засияли бы у Фрейда во всем великолепии своего потаенного блеска. Истории свата, в образе униженного Эроса, сына нужды и труда, странствующего по еврейским гетто Моравии, который, оказывая свои деликатные услуги жадному мужлану, неожиданно высмеивает его репликой, бессмысленность которой сразу ставит все на свои места, Фрейд комментирует: “Тот, у кого истина вырывается таким образом, на самом деле рад бывает сбросить с себя маску”. Он прав, это сама истина сбрасывает маску его устами, но сбрасывает лишь для того, чтобы ум мог укрыться за другой, еще более обманчивой: софистика служит ему стратегией, логика – приманкой, и даже комизм – способом пустить пыль в глаза. Сам ум всегда хранит дистанцию.

Ни в какой другой ситуации выдумка субъекта не выходит в такой степени за рамки намерений индивида, нигде не чувствуется лучше то различие, которое мы между тем и другим проводим. Ведь для того, чтобы выдумка могла доставить мне удовольствие, в ней должно быть нечто странное для меня самого – больше того, чтобы она возымело действие, свойство это должно за ней сохраниться. Это связано как с нуждой в третьем лице – слушателе – присутствие которого, как ясно показал Фрейд, обязательно предполагается, так и с тем фактом, что острота никогда не теряет силы при передаче в косвенной речи. То есть когда амбоцептор, озаряемый ликованием словесного фейерверка, устремляется на место Другого. Единственное, что делает остроту неудачной, это тривиальность той истины, которая получает свое объяснение. К нашей проблеме это имеет непосредственно отношение. Нынешнее отсутствие интереса к исследованиям в области языка символов, бросающееся в глаза при сравнении количества публикаций на эту тему до и после 1920 года, обусловлена в нашей дисциплине ни больше, ни меньше как сменой ее предмета; стремление к равнению на плоский уровень коммуникации, обусловленное новыми задачами, поставленными перед психоаналитической техникой, скорее всего и послужило причиной безрадостного итога.

Может ли речь исчерпать смысл речи – или, точнее, в терминологии Оксфордского логического позитивизма, смысл смысла – иначе, нежели в акте ее порождения? Как видим, первородство, которое отнял было у слова Гете (“В начале было дело”) снова к нему возвращается: в начале было именно слово и мы живем в его творении, но продолжается это творение и обновляется оно лишь делом нашего ума. Оглянуться на него мы можем, лишь двигаясь вперед и вперед под его напором. И рискнем мы на это, лишь зная, что следуем здесь его путями...

“Никто не должен оправдываться незнанием законов”, – формула эта, являющая собой образец юмора из Судебного Кодекса, выражает, тем не менее, истину, на которой наш опыт основан и которую он подтверждает. Закон действительно известен всякому, ибо с тех пор, как первые слова признательности повлекли за собой первые дары, закон человека – это закон языка, и понадобились презренные, пришедшие и бежавшие морем данайцы, чтобы люди научились опасаться лживого слова и неискреннего дара. До тех пор, для мирных аргонавтов, связывавших узами символического обмена племенных обитателей островов, дары эти – сам акт дарения, предметы дара, возведение их в достоинство знака и само изготовление их – связаны со словом настолько тесно, что им и именовались.

Так с чего же начинается язык вкупе с законом – с этих даров, или с пароля, наделяющего их своей спасительной бессмысленностью? Ведь дары эти сами по себе уже символы, ибо символ означает союз, а они суть означающие союзы, который сами же и конституируют как означаемое.

Свидетельством тому тот факт, что объекты символического обмена – эти сосуды, в которые ничего не положишь, щиты, слишком тяжелые для битвы, венки, которым суждено засохнуть, пики, втыкаемые в землю, – всегда бывают либо заведомо бесполезны, либо избыточно обильны. Но эта нейтрализация означающего – исчерпывает ли она природу языка до конца? Если да, то нельзя ли обнаружить начатки его, скажем, у морских ласточек во время тока, где материей его служит передаваемая из клюва в клюв рыба, в которой этнологи, – если она действительно, как они утверждают, является средством вызвать у группы равнозначную празднику активность, – с полным правом могли бы тогда усматривать символ? Этот образец наивности – для данной области, впрочем, довольно характерный – не заслуживал бы такого внимания, если бы не был делом рук психоаналитика, или, лучше сказать, некоего лица, сумевшего как бы случайно соединить в себе все черты того направления психоанализа, которые под названием “теории Эго” или технике анализа защитных реакций, по сути дела, противостоят фрейдовскому опыту, как бы “от противного” демонстрируя неразрешимую связь этого опыта со здравым понятием о языке. Ибо открытие Фрейда – это открытие совокупности тех последствий, которые несет для природы человека его принадлежность к символическому строю, и прослеживание их смысла вплоть до обнаружения в бытии наиболее радикальных инстанций символизации. Игнорировать это – значит обречь открытие Фрейда на забвение и свести на нет его опыт.

Но вернемся к нашему символическому объекту, который, утратив весомость утилитарную, материально остался вполне весомым, так что передача невесомаго его смысла потребует перемещения некоторого веса. Действительно ли перед нами закон и язык? Похоже, что еще нет. Ведь даже появившись среди ласточек эдакий атаман, который, выхватывая из разинутых клювов других ласточек символическую рыбу, положил бы начало той эксплуатации ласточки ласточкой, о которой мы позволили себе однажды пофантазировать, этого вряд ли бы достало, чтобы воспроизвести у них ту, по образу нашей написанную, баснословную историю, что всех нас держала однажды пленниками на острове пингвинов; чтобы создать настоящую “ласточкину вселенную” еще чего-то явно не хватало бы. Это “что-то” как раз и завершает собой символ, претворяя его в язык. Чтобы освобожденный от своего утилитарного назначения символический объект стал освобожденным от “здесь и теперь” словом, изменение должно произойти не в качестве его материи (звуковая она или нет – неважно), а в том неуловимом бытии его, где символ обретает постоянство концепта.

Посредством слова, –которое, собственно, уже и есть присутствие, созданное из отсутствия, отсутствие само, в тот начальный момент, постоянное воспроизведение которого различил в игре ребенка гений Фрейда, начинает именоваться. И вот из этой модулированной пары отсутствия и присутствия,

которую с таким же успехом порождают начертанные на песке длинные и короткие штрихи китайских мантических “куа”, и рождается та вселенная языкового смысла, в которой упорядочивается впоследствии вселенная вещей. С помощью того, что воплощается лишь в качестве следа некоего небытия и чей носитель с момента воплощения измениться не может, концепт, храня длительность преходящего, порождает вещь. Мало сказать, что концепт и есть сама вещь — это, вопреки школьной мудрости, может доказать и ребенок. Именно мир слов и порождает мир вещей, поначалу смешанных в целом становящегося “здесь и теперь”; порождает, сообщая их сущности свое конкретное бытие, а тому, что пребывает от века к веку — свою вездесущность. Итак, человек говорит, но говорит он благодаря символу, который его человеком сделал. Ведь если назвавшего себя чужестранца встречают дары избыточно обильные, то жизнь естественных групп, образующих сообщество, подчиняется брачным правилам, регулирующим порядок обмена женщинами и соответствующие взаимные повинности, этими правилами определяемые; по пословице Сиронга, родственник со стороны супруги все равно, что ляжка слона. Брак определяется порядком предпочтений, правила которого, включающие именованья степеней родства, для группы, как и язык, императивны по форме, но бессознательны по своей структуре. И вот в структуре этой, гармония и тупики внутри которой регулируют ограниченный или обобщенный обмен, различаемый в ней этнологией, изумленный теоретик находит всю комбинаторную логику; законы числа, т.е. символа в наиболее чистом его виде, оказываются, таким образом, имманентными изначальному символизму. Во всяком случае, в богатстве форм, в которые развиваются так называемые элементарные структуры родства, законы эти без труда прослеживаются. И это наводит на предположение, что лишь неосознанность их постоянства еще сохраняет у нас иллюзию в свободе выбора внутри тех якобы сложных брачных структур, под законом которых мы существуем. Недаром статистика дает понять, что свобода эта осуществляется не произвольно; ведь в результатах своих она сориентирована субъективной логикой. Вот почему, признавая, что значение Эдипова комплекса распространяется на всю область нашего опыта, мы вправе сказать, что именно он определяет границы, которые наша дисциплина предписывает субъективности, т.е. определяет то, что субъект может узнать о своем бессознательном участии в движении сложных структур брачных уз, наблюдая в собственном индивидуальном существовании символические последствия тангенциального движения к инцесту, дающего о себе знать с момента возникновения универсального сообщества.

Изначальным Законом является, следовательно, тот, который, регулируя брачные союзы, ставит над царством природы, где господствует закон спаривания, царство культуры. Запрет инцеста является лишь субъективным стержнем этого закона, очевидным благодаря современной тенденции сводить запрещенные для выбора объекты к сестре и матери, хотя нельзя

сказать, что все остальное нам уже позволено. Закон этот, следовательно, достаточно ясно обнаруживает свою идентичность со строем языка. Ибо без именований родства никакая власть не в силах установить порядок предпочтений и табу, поколениями плетущих и связывающих нити наследственности. Именно смешение поколений Библия и все традиционные законы предают проклятию как словесную скверну и пагубу для грешника. И мы прекрасно знаем, какое пагубное воздействие, вплоть до разрушения личности, может оказать на субъект фальсификация родственных связей, если ложь находит опору и поддержку в окружении. Не менее пагубные последствия могут возникнуть в случае, когда мужчина берет в жены мать женщины, от которой у него был ребенок: братом этого последнего окажется тогда брат его матери. И если впоследствии, — а случай этот не придуман — он был из сочувствия усыновлен семьей дочери от предыдущего брака отца, то оказался сводным братом своей приемной матери, и нетрудно представить, с какими сложными чувствами должен он ожидать рождения ребенка, который придется ему одновременно братом и племянником. Даже простое смешение поколений, происходящее с рождением позднего ребенка от второго брака, молодая мать которого оказывается ровесницей его старшего брата, может привести к почти таким же последствиям; как известно, сам Фрейд был именно в такой ситуации.

Та самая функция символической идентификации, с помощью которой первобытный человек воплощает в себе носившего его имя предка и которая обуславливает повторение ряда чередующихся характеров у современного человека, у субъектов, отношения которых с отцом оказались тем или иным образом нарушены, вызывает распад Эдипова комплекса, в котором и следует видеть источник дальнейших патогенных эффектов. Даже будучи представлена единственным лицом отцовская функция сосредотачивает в этом лице воображаемые и реальные отношения, которые всегда более или менее неадекватны символическому отношению, конституирующему ее сущность. Именно в имени отца следует видеть носителя символической функции, которая уже на заре человеческой истории идентифицирует его лицо с образом закона. В ходе анализа данная концепция позволяет нам ясно отличать бессознательные эффекты этой функции как от нарциссических отношений, так и от отношений реальных, которые субъект поддерживает с образом и действиями лица, ее воплощающего; в результате рождается определенная форма понимания, отражающаяся на характере аналитического вмешательства. Практика убедила в плодотворности этого метода как нас самих, так и учеников, его у нас заимствовавших. И, наоборот, в процессе контроля, в совместной аналитической работе, мы неоднократно имели случай обращать внимание на опасную путаницу, порождаемую непониманием этого метода. Итак, именно сила слова увековечивает движение Великого Долга, власть которого Рабле, в своей знаменитой метафоре, распространяет на всю поднебесную. И нет ничего удивительного, что именно в главе, где макарониче-

ская инверсия именования степеней родства предвосхищает этнографические открытия нашего времени, обнаруживается прозрение Рабле в самую сердцевину той человеческой тайны, которую мы стараемся здесь прояснить. Символы и в самом деле опутывают жизнь человека густой сетью: это они еще прежде его появления в мире сочетают тех, от кого суждено ему произойти “по плоти”; это они уже к рождению его приносят вместе с дарами звезд, а то и с дарами фей, очертания его будущей судьбы; это они дают слова, которые сделают из него исповедника или отступника и определяют закон действий, которые будут преследовать его даже там, где его еще нет, вплоть до жизни за гробом; и это благодаря им кончина его получит свой смысл на Страшном суде, где – не сумеет он достичь субъективной реализации бытия-к-смерти – Словом его бытие оправдается или Словом же осудится. Вот рабство и величие, в которых живое существо бесследно исчезло бы, если бы по смешении языков, когда противоречащие друг другу веления развалили общее дело, желание не сохранилось в интерференциях и пульсациях, сходящихся на нем в круговоротах языка.

Но само желание это, чтобы быть в человеке удовлетворенным, требует признания в символе или же в регистре воображаемого, что оборачивается поисками речевого согласия или борьбой за престиж. Задача психоанализа состоит в том, чтобы воцарилась в субъекте толика реальности, которую желание это поддерживает в нем по отношению к символическим конфликтам и воображаемым фиксациям как средство их согласования; наш путь – это тот интерсубъективный опыт, в котором желание достигает признания.

Теперь становится ясно, что вся проблема состоит в отношениях речи и языка внутри субъекта. В пределах нашей области мы наблюдаем в этих отношениях три парадокса. В безумии, какова бы ни была его природа, мы должны различать, с одной стороны, отрицательную свободу речи, не притязающей более на признание, т.е. то, что мы называем препятствием к переносу, и, с другой стороны, своеобразные формы бреда, который – сказочный ли, фантастический, космологический, – требовательный, интерпретирующий или идеалистический, – объективирует субъект в лишенном диалектики языке. Отсутствие речи обнаруживает себя в стереотипах дискурса, где субъект не столько говорит, сколько сказывается; символы бессознательного являются нам здесь в окаменевших формах, которые, наряду с мумифицированными формами, в которых сохраняются мифы в наших книгах по мифологии, находят себе место в естественной истории этих символов. Ошибочно, однако, полагать, будто субъект их усваивает, ибо сопротивление их признанию оказывается не меньшее, чем в случае неврозов, когда субъекта толкает на это сопротивление попытка лечения.

По ходу дела заметим, что полезно было бы проследить, какие места в социальном пространстве определяет для этих субъектов наша культура, особенно в отношении предоставления им социальных ролей, имеющих отноше-

ние к языку, ибо вполне вероятно, что при этом обнаружится один из факторов, делающих эти субъекты жертвами разрыва, вызванного характерными для сложных структур цивилизации символическими несоответствиями.

Второй случай представлен привилегированной областью психоаналитического открытия, т.е. симптомами торможения и страха в картине различных неврозов. Речь изгнана здесь из упорядочивающего сознание конкретного дискурса, но находит себе опору либо в естественных функциях субъекта – что происходит, если какое-нибудь органическое расстройство провоцирует разрыв между индивидуальным бытием и его сущностью, благодаря которому болезнь становится посвящением живого существа в существование субъекта, – либо в образах, организующих структуру тех отношений, которые возникают между *Umwelt* и *Innenwelt* на их границе. Симптом является здесь означающим вытесненного из сознания субъекта означаемого. Символ, начертанный на песке плоти и на покрывале Майи, он причастен языку в силу той семантической двусмысленности, которая уже отмечалась нами в его строении. Но это и есть полноценно функционирующая речь, ибо в секрет ее шифра включен дискурс другого. Именно расшифровка этой речи и привела Фрейда к открытию того первичного языка символов, что в неудовлетворенности человека, принадлежащего цивилизации дает о себе знать и поныне.

Иероглифы истерии, гербы фобии, прелести бессилия, тайны внутреннего запрета, оракулы страха; говорящие гербы характера, печати самобичевания, маски извращения – вот недомолвки, которые наше толкование разрешает; двусмысленности, которые наш призыв рассеивает; уловки, которые оправдывает наша диалектика на пути освобождения плененного смысла.

Третий парадокс отношения языка к речи – это парадокс субъекта, теряющего свой смысл в объективациях дискурса. Сколь бы метафизичным ни казалось нам такое определение, мы не можем не признать присутствие этого парадокса на первом плане нашего опыта. Именно здесь имеет место наиболее глубокое отчуждение субъекта научной цивилизации, и именно с этим отчуждением мы сталкиваемся сразу же, как только субъект начинает о себе говорить; для полного его преодоления анализу пришлось бы приблизиться к границам мудрости.

Мы вовсе не хотим, однако, сказать, будто культура наша по отношению к творческой субъективности пребывает во тьме внешней. Напротив, субъективность эта никогда не оставляла борьбы за обновление неисчерпаемого могущества символов в рождающем их межчеловеческом обмене. Придавать значение немногочисленности субъектов, которые являются носителями этой творческой активности, было бы отступлением на точку зрения романтизма, сопоставляющую явления, отнюдь между собой не эквивалентные. Дело в том, что субъективность эта, в какой бы области она ни проявлялась – в политике ли, в математике, в религии, или даже в рекламе – продолжает оставаться

одушевляющим началом всего движения человечества в целом. Другой же взгляд, не менее обманчивый, заставил бы нас отметить противоположную ее черту: никогда еще не проступал так явно ее символический характер. Ирония революций состоит в том, что они порождают власть тем более абсолютную в своих проявлениях не оттого, что, как считают многие, она более анонимна, а оттого, что она в большей степени сводится к означаемым ее словам. И более чем когда-либо, с другой стороны, власть церковей обусловлена языком, который они сумели сохранить – момент, который, надо сказать, остался несколько в тени у Фрейда в той статье, где он описывает то, что мы назвали бы коллективными субъективностями церкви и армии. Психопроанализ сыграл определенную роль в ориентации современной субъективности, и он не сможет сохранить эту роль, не согласовав ее с тем направлением современной науки, которое вносит в нее ясность. В этом и состоит проблема основания, которое должно обеспечить нашей дисциплине подобающее место среди других наук: проблема формализации, по сути дела совсем еще не разработанная. Ибо похоже, что теперь, когда медицинское мышление, в борьбе с которым складывался некогда психоанализ, вновь возобладаало в нем, нам, чтобы догнать науку, предстоит, как и самой медицине, преодолеть отставание на добрых полвека. В абстрактной объективации нашего опыта на фиктивных, а то и вообще симулированных, принципах экспериментального метода, мы видим результат предрассудков, от которых наше поле необходимо очистить, прежде чем мы начнем разрабатывать его в соответствии с его подлинной структурой. Странно, что мы, чья практика опирается на символическую функцию, отказываемся от попыток углубить ее, не желая признать, что именно благодаря ей мы оказываемся в центре движения, которое устанавливает новый порядок наук, ведущий к пересмотру традиционной антропологии. Этот новый порядок означает не что иное, как возврат к понятию истинной науки, заявившей о себе в традиции, отправляющейся от Тезтета. Как известно, понятие это было искажено позитивистской революцией, которая, поместив науки о человеке на вершину пирамиды экспериментальных наук, на деле их этим наукам подчинила. Объясняется такое положение дел ошибочным взглядом на историю науки, основанным на престиже специализированного экспериментирования. Но в наши дни, когда науки, основанные на предположениях, открывают издавна бытовавшее понятие о науке заново, мы обязаны пересмотреть унаследованную от 19-го столетия классификацию наук под углом зрения, на который наиболее проникательные умы совершенно ясно указывают. Чтобы отдать себе в этом отчет, достаточно проследить ход конкретной эволюции различных дисциплин. Проводником при этом нам может послужить лингвистика, ибо именно она находится на острие современных антропологических исследований, и пройти мимо этого факта мы не вправе.

Поступила в редакцию 19.05.2001 г.